

НОВЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

«Основа»¹, 1861, № 1

Мы, великоруссы, не можем похвалиться, что всегда были справедливы в своих литературных отношениях с малороссами. Еще очень недавно русская литература смотрела на попытки придать литературное значение малорусскому языку иногда с надменной усмешкой, иногда и прямо с враждой. Великим и совершенным ничто не рождается, а народная потребность и любовь к родному заставляет нацию принимать с восторгом первые родные произведения, каково бы ни было их безотносительное достоинство. Малороссы естественно должны были восхищаться сочинениями первых малорусских писателей. Мы, великоруссы, читая повести Основьяненка, перелицеванную «Энеиду» Котляревского и стихи Гулака Артемовского, не находили в них ничего особенно хорошего и слишком бесцеремонно стали подсмеиваться над малороссами за восхищение такими писателями. Кроме посредственности дарований, многие из нас охладились и самым направлением тогдашних малорусских корифеев. Это были люди патриархальные, — не то что народные, нет, а просто не умевшие различать в своем родном быте дурных сторон от хороших и возводившие в идеал многие такие вещи, от которых уже отворачивался сам малорусский народ. Чтобы малорусской публике понятно стало, о чем мы говорим, просим наших малорусских читателей припомнить анекдот, случившийся при чтении «Листов к любезным землякам»² на сельской сходке малороссийских поселян, — анекдот этот, вероятно, очень известен в южной России, по крайней мере, мы слышали его от малороссов очень часто. Пока чтец (чуть ли не сам Основьяненко) читал из этих «Листов» рассуждение о вреде пьянства, малороссы поддакивали и одобрительно кивали головами. Но едва чтец дошел до разных высших философствований и внушений, из толпы послышался единодушный отзыв: «это уже пошли враки» — оттоуже брехня. Слишком наивный автор «Листов» принял за чи-

стю монету квасные разглагольствования нашей татарщины* и почел, что переводом их на малорусский язык сделает пользу и удовольствие своим любезным землякам. Литература наша, не долюбившаяся подобным рассуждений на великорусском языке, не слишком полюбила такой оттенок в тогдашних корифеях возниковавшей малорусской литературы. Быть может, некоторые из сотрудников «Основы», хотя сами и никак не могут подлежать подобному упреку, найдут, что мы несправедливы к Основьяненке и его сверстникам, — быть может, они скажут, что гражданские понятия Основьяненка должны назваться удовлетворительными, а уже наверно многие прибавят, что малорусские произведения Основьяненка имеют высокое художественное достоинство, невпример выше его рассказов на великорусском языке. Пусть оно будет и так — спорить мы не намерены: мы только выставляем мнение тогдашней великорусской литературы, как причины известного исторического факта, а вовсе не доказываем, что эти мнения были справедливы. Тем меньше расположены мы оправдывать самый факт — неблагоприятные суждения, какие часто встречались в тогдашних петербургских и, отчасти, московских журналах о тогдашней малорусской литературе. В этих суждениях была явная опрометчивость.

С той поры у некоторых малороссов до сих пор удержалось мнение, будто бы великоруссы все еще плохо расположены к южно-русской народности. Что и говорить, мало ли каких людей найдется в нашей матушке Великой Руси. Есть такие молодцы, которые не только не станут питать дружеских чувств к «Основе», — не питают их и ни к одному мало-мальски порядочному московскому или петербургскому журналу; которые не то что по-малорусски, а и по-великорусски учиться не дали бы никому. Но про таких людей нечего рассуждать: мы готовы были бы выдать их всех головой не только малороссам, а, пожалуй, хотя бы друзьям, да и те их не возьмут к себе. Мы будем говорить только о тех великоруссах, которых не должна стыдиться назвать своими людьми их родина, и мы можем уверить малороссов, что никто из таких людей не откажется назвать своим мнением следующей взгляд на литературные стремления малорусской народности.

С той поры, как отзывался кто-нибудь в великорусской литературе холодно об этом стремлении, времена изменились, порядком изменились мы, да и малорусская литература получила уже такое развитие, что даже могла бы обойтись и без нашего великорусского одобрения, если б могли мы не иметь к ней сочувствия. Когда у поляков явился Мицкевич, они перестали нуждаться в снисходительных отзывах каких-нибудь французских или немецких критиков: не признавать польскую литературу

* То есть реакционеров. — Ред.

значило бы тогда только обнаруживать собственную дикость. Имея теперь такого поэта, как Шевченко, малорусская литература также не нуждается ни в чьей благосклонности. Да и кроме Шевченка пишут теперь на малорусском языке люди, которые были бы не последними писателями в литературе и побогаче великорусской. Другие писатели, по самому роду своей деятельности избирающие для своих произведений великорусский язык, принадлежат всеми своими симпатиями к кругу людей, наиболее заботящихся о развитии малорусской народности. А важнее всего то обстоятельство, что сама малорусская нация пробуждается. Если чехи необходимо должны иметь свою литературу, хотя чеху, вероятно, не труднее выучиться читать польские книги, чем малороссу великорусские, то странно было бы отрицать справедливость такого же стремления в малороссах, которые вдвое многочисленнее чехов.

К чему приведет это стремление, мы того не знаем, как не знают и сами малороссы, потому что дело зависит от путей, по которым пойдет вся история всей восточной Европы. Быть может, через 1000 лет не останется на свете ни сербов, ни болгар, ни малороссов, а будут потомки этих народов составлять какой-нибудь один народ, которого теперь еще и нет на свете. Если так, разумеется, не тысячалетняя жизнь суждена и малорусской литературе, и, быть может, исчезнет она по случаю минования народной потребности в ней, не развившись до богатства учеными книгами по всеобщей истории или философии, по математике или естественным наукам на малорусском языке. А быть может, случится и наоборот, — и, судя по всему прежнему ходу истории, надобно скорее думать, что случится наоборот; не какие-нибудь 200 или 300 лет, а бог знает сколько веков будут говорить по-малорусски люди, живущие по Днепру и дальше на запад; в таком случае будет существовать и малорусская литература бог знает сколько веков; а если так будет, то нет никаких оснований сомневаться, что раньше или позже появятся на малорусском языке всякие книги, какие пишутся теперь, например, хотя бы на польском языке: не одни стихотворения и повести, а также ученые трактаты по всевозможным наукам. Еще недавно мы отваживались сказать, что на малорусском языке невозможно было бы явиться статье г. Безобразова об аристократии; оно и правда, что теперь невозможно; а со временем — почему знать? — могут появиться у малороссов свои доморожденные гг. Безобразовы и, чего доброго, будущий г. С. Г. издаст когда-нибудь «Философский словарь» на чистейшем малорусском языке³.

Просим малороссов не тревожиться: мы не предсказываем, что их непременно постигнет такая беда; мы только говорим, что пусть они не думают, будто мы хотим сохранять за великорусским языком привилегию служить органом мыслей г. С. Г. о философии, г. Ржевского о политической экономии, г. Ротчева об

Англии, г. Андреева о Древнем Риме (с императором Агриппою) и т. д.⁴; мы от души им желаем иметь на малорусском языке книги обо всех этих предметах, только с тою оговоркою, что желаем им иметь писателей не таких, как эти наши.

Однако перейдем к настоящему делу. Спрашивают иногда: способен ли малорусский язык достичь высшего литературного развития? Нам кажется, что простительно, когда делают такой вопрос люди, никогда не думавшие о малорусской народности, — не по отсутствию симпатии к ней, а просто потому, что не случилось им думать ни о Малороссии, ни о России, ни о Европе, ни об Америке, да ни о чем в свете, как не случилось прочесть Кольцова или Островского, которых они, впрочем, наверное полюбили бы, если бы прочли. Но мы несколько обижаемся за Малороссию, когда такой же вопрос предлагают себе малороссы, — как будто об этом можно спрашивать! Да разве следует иметь тут какое нибудь сомнение? Да разве есть на свете какой-нибудь язык или какое-нибудь наречие, которое не получит высшего литературного развития, когда племя, говорящее им, будет нуждаться по своему развитию в литературе? Ведь нидерландцы, например, говорят языком, который к ниже-немецким наречиям едва ли не ближе, чем малорусский к великорусскому, и к которому ниже-немецкие наречия гораздо ближе, чем к литературному немецкому. Почему же у нидерландцев есть своя литература, у других platt-deutscher^{ов} * нет своей особенной литературы? Просто потому, что есть между говорящими на нидерландском наречии люди, нуждающиеся в литературе, а в племенах, говорящих другими ниже-немецкими наречиями, нет таких людей: тот кто любит читать книги, тот уже бросил говорить на местном наречии и говорит (более или менее удачно) литературным немецким языком. То же самое и у нас с каким-нибудь рязанским или костромским наречием. Они, без сомнения, никогда не будут иметь высокого литературного развития. Но почему? Потому ли, что сами в себе неспособны к высшему развитию? Какой вздор! Чем же слово «знат» хуже само по себе слова «знает» и форма «рукам, ногам» хуже формы «руками, ногами»? Нет, просто потому, что сознание костромича или тамбовца о себе как о костромиче или тамбовце совершенно исчезает в его сознании о себе как о великоруссе. Он думает: «не стоит мне хлопотать о моих местных отличиях»; он держится их только тогда, когда по незнанию не имеет возможности бросить их без внимания, которого, впрочем, и так не имеет к ним. Если племя находится в таком нравственном располнении, то не бывает ни между ним, ни в каких книгах рассуждений о способности его наречия к высшему литературному развитию. Таково ли положение малороссов? Лет 50 или 70 тому назад каждый из них,

* Говорящих на ниже-немецком наречии. — Ред.

вероятно, точно так же рад был бросить свой язык для великорусского, как чех тогда рад был стать из чеха немцем, или словак из словака мадьяром, или как теперь провансалец рад стать из провансальца истым парижанином по разговору. Теперь не то у малороссов. А если не то, так почему же и не быть способну их языку к высшему литературному развитию, когда способно к нему нидерландское наречие?

Но действительно ли есть у малороссов любовь к своему наречию, потребность иметь на нем литературу? Тут, кажется, опять-таки не о чем спрашивать. Не только они сами сознают, даже мы, великоруссы, признаем, что они — не великоруссы, а малороссы, что они имеют много важных особенностей от нас и дорожат этими особенностями. Могут ли иметь они потребность в книгах, писанных языком, различным от великорусского, об этом каждый из нас может судить по себе, — стоит только ему развернуть малорусскую книгу: если он не имел случая познакомиться с малорусским языком, он поймет в этой книге немногим больше, чем в польской, и едва ли больше, чем в сербской. Легко ли, приятно ли читать книги на чужом языке? Оно и легко, и приятно бывает, когда вы научились чужому языку, но и то лишь в том случае, если на своем родном языке вы начитались книг досыта. Чтение книги на чужом языке — все равно, что выезд в гости: бывать по временам в чужих людях приятно и даже полезно; но не приведи бог никому не иметь своего угла!

Великорусская книга — родная книга и архангельцу, и енисейцу, и астраханцу, но не родная она малороссу. Ему нужно теперь — не так, как нам, — не только учиться тому, чему он хочет учиться: ему нужно еще учиться великорусскому языку, чтобы можно стало учиться чему-нибудь, прямо нужному для его развития. Дело другое, если бы имели любознательность и надобность в просвещении только те люди в Малороссии, которые с младенчества слышат в своем семействе великорусский язык, выучиваются говорить на нем в первые годы детства, незаметно, без труда, без потери времени. Тогда малорусская литература была бы не нужна, как не была бы нужна, например, и шведская литература, если бы в Швеции охоту и надобность учиться имели только те люди, которые с детства привыкают говорить по-немецки, как на родном языке. Но этого нет ни в Малороссии, ни в Швеции; потому нельзя ни Малороссии, ни Швеции обойтись без своей особенной литературы.

Отношением, из которого вытекает необходимость малорусской литературы, определяется и размер, в котором возможно ей с действительным, а не мечтательным успехом развиваться в нынешнее время. Кому нужна она и для чего нужна она?

Все образованные люди в Малороссии привыкли читать и почти все — свободно говорить по-великорусски. Они собственно не нуждаются в малорусских книгах по тем отраслям литературы,

в которых язык составляет второстепенную вещь: потому писать ученые книги или серьезные статьи на малорусском языке нет еще надобности теперь. Делая эту оговорку, мы, кажется, не противоречим понятию самых усердных деятелей малорусской литературы: г. Костомаров и г. Кулиш пишут свои ученые исследования по-великорусски, и, сколько мы знаем, никому из малорусов не приходило в голову желать, чтобы они писали их по-малорусски. Это была бы прихоть, а не потребность. Приспособлять язык для изложения предметов, о которых не писалось на нем, — дело скучное, тяжелое; новая терминология, с трудом формируемая, утомительна для читателя, как бы ни одобрял он такие опыты. Кому есть возможность избежать утомления, тот всегда станет уклоняться от него; потому следует полагать, что собственно ученая литература на малорусском языке теперь еще пока была бы явлением излишним и безуспешным. Нынешнее поколение образованных малоруссов не нашло бы в ней надобности, потому что все его научное образование срослось с великорусским языком.

Не таково положение малорусских простолюдинов — людей, едва грамотных или желающих учиться грамоте. Им книги серьезного содержания были бы гораздо понятнее на малорусском языке. Потому популярная литература — серьезные книги для чтения в школах, в семействах поселян — должны явиться на малорусском языке теперь же. Это тем необходимее, что и по-великорусски порядочной популярной литературы еще нет; малоруссы ровно ничего не потеряют, отказавшись от нее, — ведь все равно дело еще надобно начинать с самого начала, на великорусском ли, на малорусском ли языке; а если люди не связаны драгоценностью уже готового материала, то лучше всего им приняться за подготовку именно такого материала, какой нужен для них — великоруссам за доставление своему народу книг на своем языке, малоруссам — своему на своем.

Высказывая такое мнение, мы полагаем, что и для успехов нашей великорусской популярной литературы будет полезно, если малоруссы станут работать для доставления своему народу книг на своем языке, не удовлетворяясь для этой цели великорусскими книгами и не полагаясь на нас. У них любовь к народности так сильна, что за снабжение народа книгами наверно примутся люди самые даровитые, и книги будут написаны ими очень хорошие. А достоинство популярных книг на малорусском языке возбуждает соревнование и в нас: нам станет тогда совестно не потрудиться хорошенько для нашего племени.

Преподавание малорусскому народу на малорусском языке, развитие популярной малорусской литературы — вот, по нашему мнению, та цель, к которой всего удобнее и полезнее будет стремиться малоруссам на первое время.

О малорусской беллетристике и поэзии мы не говорим, потому что права этих отраслей малорусской литературы признаны всеми, даже и обскурантами⁵.

Когда популярною литературою и распространением школ будет в Малороссии подготовлена надобность и в других малорусских книгах, кроме популярных, беллетристических и поэтических, сами собою разовьются и другие отрасли малорусской литературы; но они разовьются этим естественным путем настоятельной нужды в них лишь в том случае, если явится в Малороссии масса просвещенных людей, не имеющих нынешней привычки говорить и думать на великорусском языке обо всем, превышающем сферу общественной домашней, протонародной жизни.

Другие славянские племена могут желать единства между собою, потому что каждое из них было бы слишком слабо в отдельности, — им действительно нужна взаимная опора. Мы не в таком положении. Мы так многочисленны, так сильны, что и одни мы в отдельности не можем бояться никого, — нам нет надобности искать чьей-нибудь опоры для своей безопасности. Мы желали бы жить сами по себе. Это может показаться гордостью. Называйте как хотите, но дело основано на статистическом факте. Быть может, не между нами одними находятся многие, желающие по внушению предрассудков решать иначе. Но нежные чувства не годятся никуда в исторических расчетах. Вспомним басню о двух горшках, железном и глиняном; вспомним басню «Лев на ловле»; а если не хотим басен, посмотрим на географическую карту. Вот сливаются Шилка и Аргунь, реки одинаковой величины, и ни одна из них не обижена; из их соединения выходит река Амур, в которой признают все географы продолжение не одной Шилки, а также и Аргуни — или не одной Аргуни, а также и Шилки. Посмотрите теперь на другое место карты: Кама, большая река, очень большая река, соединяется с Волгой; что же образуется из их соединения? образуется Волга, — Кама исчезает в ней. Напрасно усиливается она удержаться в широком русле Волги свою самобытность, напрасно воды ее жмутся плотнее, стараются сохранить полосу своего темного оттенка, — несколько часов, несколько верст, и темноватая полоса эта бесследно исчезает в широком разливе желтых вод своей слишком могущественной спутницы — Волги. Спросите в Астрахани, в Нижнем, на какой реке стоят эти города? На той самой, на которой стоят Ярославль и Тверь. А та река, на которой стоит Пермь? То другая река, она поглощена нашей рекой, — наша река ярославская, а не пермская.

Мы надеемся, что наши эти слова не будут приняты в смысле, который противоречил бы смыслу всех предшествовавших страниц. Но к чему вечно думать все о себе! Разве свет клином сошелся, что нет уже на нем ничего любопытного, кроме наших дел? Посмотрите на этнографическую карту, положим, хотя Пиренейского полуострова: странную вещь вы увидите тут, а кото-

рой, быть может, и не догадывались никогда. Как вы полагаете, на каком языке говорят жители Каталонии, Валенсии и восточной части Арагонии? На одном из наречий южно-французского языка. Не правда ли, это удивляет вас? Какие книги, какие газеты печатаются в Барселоне, читаются в Лериде, Тортозе, Аликанте? Вы знаете, что испанские. Отчего же бы это так, когда вся эта страна от Аликанте до Фигераса и Сольсоны населена племенем, родной язык которого — одно из южно-французских наречий? Не знаем отчего, но, посмотрев на противоположный, западный край Пиренейского полуострова, увидим другую странность. Португальцы имеют свою особенную литературу, а между тем говорят просто-напросто одним из наречий испанского языка, — наречием, которым говорит народ не в одной Португалии, а также и в испанской Галисии, где уже не читают португальских книг, а читают испанские книги, то есть книги не на родном галисийско-португальском наречии, а на кастильском, то есть мадридском, наречии. Очень странно. С чего это вздумалось каталонцам и валенсийцам обиспаниваться? почему это галисийцы не могли, а португальцы могли дать своему (у обоих у них одному и тому же) наречию высокое литературное развитие? Если что-нибудь не так, как следовало бы по логике, то обыкновенно сваливают хлопоты объяснений на историю. Мы вовсе не думаем ни скорбеть, ни радоваться ни тому, что галисийцы пренебрегают своим наречием, ни тому, что португальцы развивают его. Что нам до этого? Пусть себе португальцы и каталонцы читают книги на каком хотят языке. Весь наш интерес в их делах ограничивается желанием всякого добра для них. Пусть они будут уверены в искренности нашего доброжелательства; но тут же то же самое доброжелательство заставляет нас сделать оговорку: пусть они, однако, из этого доброжелательства не выводят мысли искать в нас опоры: у них своя земля, у нас своя земля, и если бы португальцы вздумали присоединить свою землю к нашей на каких бы то ни было условиях, из этого мало было бы пользы нам, а еще меньше им.

Но мы бог знает куда отбились от «Основы». Начали мы было с малорусской литературы так, что и могло бы выйти вступление к отчету о новом журнале, а потом сбились с толку так, что уже ровно никакого отношения ни к «Основе», ни к малорусской литературе не оказывается в нашем многословии. Разве одною ниткою можно как-нибудь притянуть его к «Основе». «Основа» хочет печатать малорусские стихотворения и повести и, кроме того, быть сборником материалов для изучения южно-русской страны, истории и народности. А мы заболтались до того, что начали рассуждать побасенки, что, как известно, составляет уже народность. Вот она связь и приискана, хотя с порядочной натяжкой. Начнем же говорить о настоящем деле, а великодушный читатель постарается забыть предыдущие страницы.

Программа «Основы» известна читателю: она была разослана при «Современнике», кроме того, говорилось о ней и в самом «Современнике»⁶. Стало быть, пересказывать ее вновь — дело лишнее, а надобно сказать только о том, каков первый номер «Основы». Перечислять все статьи, в нем помещенные, было бы так же напрасно — список их можно видеть в объявлениях (а еще лучше — на обертке самой «Основы»), а мы заметим только некоторые: пять стихотворений Шевченка, рассказ Марка Вовчка «Три доли», план драмы из украинской истории, найденный в бумагах Гоголя, статьи о Климентие и Котляревском, составляющие начало обзора украинской словесности г. Кулиша, и мысли «О федеративном начале в древней Руси» г. Костомарова⁷.

Мы не будем говорить ни о рассказе Марка Вовчка, ни о пьесах Шевченка: одних имен этих довольно, чтобы люди, читающие по-малорусски, назвали первый номер «Основы» очень интересным. Обратим внимание только на статьи г. Кулиша и г. Костомарова.

Не многие из нас слыхивали о Климентие, стихоплете времен Мазепы; но кто подвержен наклонности приписывать хорошее влияние на народную жизнь той схоластике, которая процветала в Киеве и в славяно-греко-российской академии, должен прочесть этюд г. Кулиша об ученом поэте, порожденном этою схоластикой. Надобно дивиться терпению, с которым автор перечитывал его бесцветные вирши, выбирая все, что может характеризовать или взгляд его, или тогдашние нравы. Зато и картина вышла поучительная для многих из наших историков литературы. Несмотря на свое звание, Климентий — грязный циник, и назидательные его стихи учат разврату. Кроме пьянства, всяческого кутежа и презрения к женщине, Климентий внушает только разве следующие понятия, — переводим прозою конец его виршей «о мужиках, уходящих в слободы» (то есть уходящих в малонаселенные места от притеснений).

«Они покидают готовые избы, и, пришедши в вольное село, не имеют их; они подвергаются бедствиям хуже прежних и разве-разве остаются живы сами; тут им уж воля хоть бежать в лес, хоть к самому чорту, хоть утопиться, хоть удавиться. Вот твоя доля, глупый мужик, бунтовщик против своего пана. Не хотел ты повиноваться пану, гибни же теперь за свою злую непокорность, за упрямую свою гордость. Хорошо делают паны, которые обируют таких мужиков: бог простит их, в этом нет греха. Следует не только обирать их, следует забивать до смерти. Ежели человек не повинуется кому следует, то обери и хоть убей его до смерти за такую вину. Бог за (убийство) бунтовщика не накажет, а еще наградит, потому что он виноват не перед одним паном, а и перед самим богом. Как ты ни жил, а все жил; надобно до конца претерпеть, и зато мог бы ты получить спасение. Потому вы,

паны, не щадите таких беглецов: грабьте их, бейте и отнимайте у них детей. Не оказывайте им никакого снисхождения, а спра- вляйтесь с ними, как я говорю».

Хорош наставник и для народа, и для панов. Если мало вам этого, то вот еще перевод только двух стихов: «Не верь никакой женщине, ни даже жене», — говорит Климентий:

«Даже мать, и она тоже женщина, и через мать попадает человек в беду и в грех».

До такой пошлости, чтобы даже о матери говорить подобным образом, не доходил никогда и грубейший человек, не испорчен- ный схоластикою; эти стихи Климентия так замечательны своей удивительною наглостью, что мы выпишем их подлинными сло- вами, — иначе читатель усомнился бы, не прикрашена ли мысль Климентия в нашем переводе.

И аще би и мати, ёднкъ тая жь женà,
и презь мàтерь бивàет скорбь и грѣху винà.

Познакомившись с Климентом, наверное потеряешь охоту говорить, что имел или мог иметь благотворное влияние на граж- данский или семейный быт тот элемент, представителем которого является Климентий. Из статьи г. Кулиша о Котляревском мы выпишем несколько строк, могущих служить некоторым извинением прежней ошибки наших московских и петербургских писа- телей, не думавших, чтобы из стремления к малорусской литера- туре вышло нечто хорошее, видимое нами теперь. Природный талант, по словам г. Кулиша, был у Котляревского, но дурной вкус, которому он поддался, отразился на поколении малорусских писателей, воспитавшихся его перелицованною «Энеидою», «На- талкою Полтавкою» и «Москалем Чаривником».

Когда для этого молодого поколения (говорит г. Кулиш) наступила пора высказать свой взгляд на народ в свою очередь, оно в произведениях новых писателей своих не могло вполне отделаться от того, что можно назвать одним словом — *котляревщина*. Комически карикатурное и идилли- чески сентиментальное — эти две крайности произведений Котляревского — сделались Сциллою и Харибдою для живописцев украинской жизни. На помощь одним явилось уразумение достоинства нашей простонародной жизни и поэзии, на помощь другим — строгое изучение нашего прошедшего. Тем не менее котляревщина, с той или другой стороны, отражается до сих пор во многих, повидимому, совершенно независимых произведениях украинской сло- весности, не говоря уже о целой массе плохих стихов и прозы, появившихся в печати или не находящихся для себя издателя.

Если г. Кулиш говорит, что в малорусской литературе часто и до сих пор отражается котляревщина, конечно, не нам против этого спорить. Но мы теперь видим в ней много и другого, уже не похожего на котляревщину, и зато теперь уже никто из нас не может отзываться о малорусской литературе без уважения и со- чувствия, если не хочет заслужить названия невежды.

Статья г. Костомарова «О федеративном начале древней Руси» представляет общий очерк взгляда его на очень важный

вопрос нашей древней истории: по какому принципу дробилась Русь на уделы и какими элементами восстановилось политическое единство нации. Г. Костомаров доказывает, что главным основанием распада Руси на уделы было различие племен между русскими славянами; по всей вероятности, этой племенной разнице действительно принадлежало очень важное участие в раздроблении Руси, хотя, конечно, были и другие причины, например, влияние топографических условий, невозможность долго удерживать отдаленные края в покорности какому-нибудь центру при недостатке дорог и, наконец, свойственное всем младенствующим народам неумение удержаться от распада на мелкие политические общества, хотя бы между некоторыми из этих обществ и не существовало никакой разницы ни в языке, ни в обычаях. Едва ли находилась племенная разница между Москвою и Тверью, распадение между которыми было так продолжительно и резко. Но какими бы причинами ни объяснялось удельное распадение, нас гораздо больше интересует взгляд г. Костомарова на причины, которым должны мы быть благодарны за наше нынешнее политическое единство. Первую из этих причин г. Костомаров разъясняет очень верно (приводим только главные мысли, выпуская подробности):

Что происхождение пришедших славян было между ними памятно и служило для них признаком единства, частью это достаточно видно из сказаний в начале наших летописей о прибытии славян с Дуная. И теперь самое название «Дунай» между другими общими признаками представляет что-то общее для русских племен: в песнях великорусских и малорусских имя «Дунай» остается одним из немногих общих, для тех и других заветных собственных имен. Без сомнения, в древние времена яснее, живее и общее были воспоминания народов о приходе их предков с Дуная. Таким образом, пришельцы сознавали единство общего своего происхождения. Полянин мог враждовать с соседом своим древлянином, но помнил, что он одного с ним происхождения и пришел с одного места; вражда могла быть ожесточенною, но не могла потерять характера домашней; у врагов были одни и те же старые предания, песни, которые их сближали и указывали тем и другим на взаимное родство. Память об общих героях, прародителях, носилась над племенами дыханием поэзии. Как помнилось происхождение, это можно видеть из того, что славяне новгородские долго и долго имели тяготение к Киеву; это объясняется тем, что жители берегов Ильменя были ветвью полян: их наречие до сих пор показывает близость к южно-русскому.

Вместе с преданиями о происхождении соединяла славян и общность основ в их обычаях и нравах. Хотя каждое племя, как передают нам древние летописцы, и имело свои предания, свои обычаи, законы своих отцов, но в том, что принадлежало одному из племен в особенности, заключалось в главных чертах много такого, что составляло сущность жизненных начал другого племени. Все доказывает, что в древности славянские племена в основах своей духовной жизни имели одинакие верования, обычаи и религиозные обряды.

Еще знаменательнее этих остатков язычества, исчезавших вместе с христианством, общие славянам начала общественного строя. Вечевое начало было родное всем славянам и в том числе всем славянам русским. Повсюду, как коренное учреждение народное, является вече, народное собрание. Самое выражение вече есть название, общее всем славянам русским как в Киеве

и на Волини, так и в Ростове и Новгороде; во всех углах и краях Руси употребляют одно и то же название самого драгоценного и важнейшего явления народной самобытности. В любви к свободе славяне русские хранили заветное чувство всего своего племени, и что говорят о свободолюбии славян Прокопий, Маврикий и Лев Мудрый⁸, то сохранялось долго у русских славян, несмотря на противодействующие обстоятельства. Вечное устройство должно было действовать соединительно на русский народ. Уже одно общее имя *веча* у всех русско-славянских народов к этому располагало. Собрания народные соединяли людей часто разнородных, особенно тогда, когда на собрание сходились из нескольких городов. Вообще не было нигде строгих правил, запрещающих тому или другому участвовать в этих собраниях: мы, напротив, видим, что участвовали от мала до велика; перешедший из одного славянского города в другой видел такое же собрание, как и у себя, также без стесняющих правил, вольное, широкое, и входил в него легко. Все коренные обычаи, не только домашние и религиозные, но и общественные, по сходству начал своих должны были поддерживать сознание единства племени русско-славянского.

Несмотря на различие русских наречий, между ними существовало всегда столько сходства, сколько нужно было, чтоб каждый народец, говоривший тем или другим русским наречием, видел в другом единоплеменном, соседнем народце — родственное себе по сравнению с другими народностями. Брожение и поселение между славянами иноплеменников столько же помогало сохранению между ними сознания о племенном единстве, сколько мешало фактическому соединению народов. Каждое славянское племя могло смотреть на другое как на отличное от него во многом и не сознавать родства своего с ним только до тех пор, пока не знакомилось с таким народом, который равным образом чужд обоим. Тогда из сравнения являлось понятие о близости и возможности сознания единства. Мы имеем случай наблюдать это в наше время. Белкорусс-простолюдин не сознает родства своего с поляком, когда встречается с ним один на один, но сознание это сейчас пробуждается, как скоро случай приведет его сравнить поляка с немцем или татаринном. Так в древности полянин, встречаясь с печенегом, должен был замечать, что с ним у него нет сходства в языке, а, напротив, есть с вятичем, и отсюда возникало сознание, что вятич ему родной. При ознакомлении с другими славянскими народами, например, с поляками или болгарями, неизбежно выставлялось пред глаза сравнительно большее сходство народов русского материка между собою, чем каждого из них с прочими славянами. В древности, как и теперь, существовали общие русским наречиям филологические признаки, которых не было или которые иначе сложились у других славян. Эти признаки сохранились в наших летописях сквозь церковно-книжную одежду и указывают на существование особенностей, отличающих говор всех русских наречий от других славянских. Таким образом, славянин какого бы то ни было русского народца видел в славянине другой, своей же ветви более родную для себя стихию, во-первых, по сравнению с неславянскими племенами, окружавшими славян, а во-вторых, и по сравнению с иными славянскими ветвями. Поляк для киевлянина должен был представляться более далеким, чем славянин новгородский. Строй языка и говор много содействуют образованию понятия о близости или отдаленности народных особенностей; чем ближе говор, чем роднее язык в чужом человеке, тем больше склонности считать этого человека в общительности с собою. С народностями совершается такая судьба, что большему или меньшему их сближению, от простого чувства народного сходства до положительных стремлений к слитию, способствует столкновение с таким единоплеменным народом, которого особенности равно одинаково близки и одинаково далеки и тем, и другим; как и соединению всего племени или племенной ветви, состоящей из многих народов, может способствовать столкновение с массой иноплеменников.

Как об одной части этих замечаний говорит сам г. Костомаров, так готовы были бы мы сказать обо всем выписанном нами отрывке, что не нужно, казалось, излагать подробно вещей, которые, повидимому, всем давно известны. У народа были в разных местностях разные оттенки обычаев и говора, но все эти разные оттенки были ничтожны перед подавляющею их массою общего и в языке, и в быте, и в понятиях, и в преданиях. Сознание народа о местных своих разветвлениях совершенно подавлялось сознанием своего национального единства: что ж удивительного, если раздробление такого народа не могло быть ничем иным, как явлением, вынужденным от внешних обстоятельств, явлением, противным натуре народа, которая влекла все части к соединению и привлекла их к единству, как только население размножилось настолько, что между разными частями уже не осталось непроходимых пустынь, и вымерли в европейском климате дикие силы азиатских орд, долго не дававших народу опомниться вечными тревогами своих вторжений? Одну сторону этого дела мы можем видеть теперь в Австралии. Поселились несколько англичан в юго-западном углу материка и назвали свою землю «Западной Австралией», или нет, лучше послушаем подлинные слова летописца: «и седоша агляне по реце Блэквуд, и прозвашася западно-австралийцы; и друзии агляне седоша по реце Мурай, и прозвашася южно-австралийцы; и потечеть река Мурай в море Понетское южное жерлэм, и по тому морю итти даже до Рима, а вытечь та река с гор Синих, и за горами теми седоша друзии агляне и прозвашася викторийцы; а пойдут те горы Синие к полунощи, и на полунощи язык нем, заклепан в горах Александром Македоньским, и секут гору, хотяще высечися; а тому языку нему приседят друзии агляне иже седоша к полунощи и к морю ввосточному, и прозвашася ти агляне ново-южно-уэльсцы». Вот и живут теперь эти четыре части Австралийской земли — Западная Австралия, Южная Австралия, Виктория, Новый Южный Уэльс — каждая особо от других, и нет между ними единства, и наверное уже есть какая-нибудь разница теперь в некоторых вещах между этими четырьмя отделами «аглян»: погибло единство английской нации на южном материке! Оно, быть может, и не погибло; но, воля ваша, как же этим четырьмя частям составлять одно целое, когда каждая из них отделена от остальных пустынями, и проехать из одной в другую можно только, по «Слову о Полку Игореве», «неготовыми дорогами»? Что же вы думаете, разве век так останется? Наверное нет; когда население размножится, когда уменьшится пространство пустынь, отделяющих одно общество австралийских «аглян» от другого, из этих обществ наверное образуется одно политическое целое, и в чем надобно будет тогда искать причину единства? Просто-напросто в единстве национальности.

Это, как мы сказали, служит подобием одной стороны нашего русского дела. Другую сторону его можно видеть в судьбе Италии. Немцы, испанцы, французы беспрестанно вторгались в эту страну, терзали ее, довели народ до какого-то онемения от беспрестанных насилий и опасений, — и вот Италия бог знает сколько веков оставалась раздроблена. Почему же это оставалась? Просто потому, что не допускали единства иноземные хищники. Что же теперь? Австрийцы стали слабеть, притом же французам понадобилось побить австрийцев; народ получил некоторую возможность двигаться по своей воле — и сдвинулся в одно⁹. Точь-в-точь как у нас: сарайские татары (это, положим, австрийцы) стали слабеть: а тут Тамерлану вздумалось взять да и разбить на голову Тохтамыша, а самому Тамерлану обстоятельства помешали идти дальше Ельца, заставили его вернуть свои полчища назад; а сарайским татарам, побитым от него, не удалось уже войти в прежнюю силу; вот русский народ получил некоторую свободу движений и тоже сдвинулся в одно, по крайней мере, одна половина его сдвинулась — великоруссы; другая половина получила возможность сдвинуться несколько раньше по другим подобным же обстоятельствам: стал ходить какой-то Гедимин и бить направо и налево тех, кто мешал природному влечению южно-руссов к единству, — они тоже могли теперь двигаться несколько по своей воле и тоже сдвинулись в одно. В ком же или в чем же тут сдвигавший части элемент? В народности, и больше ни в чем; в самом русском народе и больше ни в ком. А если уж непременно вы хотите отыскать себе еще какой-нибудь предмет признательности за ваше нынешнее единство, то вы, великоруссы, провозглашайте, что сосудом, в котором отлилась и из которого излилась идея вашего единства, был Тамерлан, восхваляйте его! Я полагаю, что Тамерлан был проникнут высокою государственною идеею русского единства, что в ней ключ к его изумительной деятельности. О, великий Тамерлан! О, благодетель земли русской! Много ты пролил невинной крови, много высоких пирамид сложил ты из отрубленных голов, смазанных известкой! Глупые немцы и легкомысленные французы выражаются о тебе в самых дурных словах. Но они не поняли тебя! Тебя может оценить только облагодетельствованное тобою русское племя. Впрочем, мы выразились не совсем точно: ближайшим образом Тамерлан принадлежит истории только великорусского единства: а кого же бы нам поблагодарить за малорусское? Право, не скоро можно найти; Гедимина и Витольда с их дикими литовцами никак нельзя: по высоте своих стремлений они, пожалуй, заслуживают полной похвалы; но слишком слабы, слишком ничтожны были эти литовцы. А впрочем, дайте нам только срок, мы подумаем и придумаем, кого следует благодарить малороссам.

Шутки в сторону. Народ проникнут сознанием единства, чего же вам еще искать других причин возникновению единства?

Справедливо говорит г. Костомаров, что не стоило бы и говорить об этом, если бы с нашими историками не произошел по какому-то странному случаю такой неправдоподобный анекдот, что они «слона-то и не заметили». Подите вот, какие казусы иногда бывают. Ищешь причин, почему же это один народ оказывается одним народом, да и необразишь, что один он, собственно, потому, что один. А как необразишь этого неважного обстоятельства, то уж каких объяснений не подберешь и каких великих деятелей не отыщешь и каких благотворных элементов не откроешь!

Оно так, мало ли что соприкасается каждому великому феномену, обнимающему собою громадное пространство и сотни лет. Возьмите хоть ту же Волгу, о которой мы говорили. Почему Волга такая большая река и так много в ней воды? Вы скажете: «оттого что стекается в это русло вода громадного бассейна». А я скажу: нет, с моей кухни (дом у меня стоит на Волге) льют помои в Волгу, вот от этого и прибавляется в ней вода. Совершенная правда во-первых, и самый факт бесспорен: у нас, точно, есть привычка, что всякой дряни дают валиться и стекать в реку; а во-вторых, можно доказать математически, что от каждого ушата помоев, стекающего в реку, увеличивается количество воды в реке.

Создатель, какая длинная вышла статья! а мы было еще хотели поговорить об элементах, содействовавших развитию нашего единства. Что делать, не осталось у нас места на это. Скажем же, что они могли, пожалуй, иметь свою долю влияния, но доля эта совершенно ничтожна, ничтожней мухи перед слонем по сравнению с силою, какую имело то обстоятельство, что от Вятки до Рязани жил один и тот же народ, всегда глубоко сознававший свое народное единство.

Еще одна заметка, самая краткая. Польша была также раздроблена на множество уделов. Какая же сила слила их в одну польскую Речь Посполитую? Кажется, сходное с нашим обстоятельство только одно тут было: польская земля была населена людьми одного племени и русская земля тоже людьми одного племени. Все остальные влияния были совершенно различны. Из этого, кажется, можно видеть, что все эти различные влияния ни в Польше, ни у нас не могут считаться причинами единства, одинаково возникшего и у нас, и в Польше.

Скажут: «не имея наших элементов, Польша не удержалась, а мы отстояли свое единство». Оба факта опять бесспорны: но чему приписывать их? Толковать об этом довольно длинная история или, лучше сказать, две очень длинные истории. Отложим их до другого раза, а статью пора кончить — желанием полного успеха «Основе» и стремлению, из которого она возникла и в котором найдет себе поддержку.

Да, мы едва не забыли сказать для великоруссов, что большая часть первого номера занята статьями на нашем языке; вероятно, так будет и постоянно.

Из новых периодических изданий, которые должны были возникнуть с начала нынешнего года, особенное ожидание возбуждалось тремя: «Русскою речью», «Веком» и «Временем». «Век» и «Русская речь»² — еженедельные газеты; чтобы оценить их надлежащим образом, надобно подождать, пока дадут они по несколько номеров, судить о них теперь было бы слишком опрометчиво. Можно сказать с уверенностью лишь одно (что было, впрочем, известно и до появления первых номеров): обе газеты должны быть гораздо лучше тех изданий, которые были прежде распространены в обширном кругу читателей, находящем толстые наши журналы слишком тяжелыми или по цене, или по содержанию. Обе они принадлежат к той части нашей литературы, которая имеет свою целью облагорожение, а не опошление понятий общества. В дешевых изданиях такого рода был у нас до нынешнего года недостаток. Правда, существовал уже почти два года «Московский вестник»³, достойный полной похвалы по своему направлению; но он был слишком мало распространен в публике, конечно, по собственной вине: он не умел привлечь к себе разнообразием, не умел придать себе газетную живость. С нового года он, как мы слышали, приобрел больше средств. Отлагая до одной из следующих книжек речь о преобразованном «Московском вестнике» и новых еженедельных газетах, мы надеемся, что будем иметь тогда достаточные материалы сказать, что русская публика получила три хорошие еженедельные газеты.

Но о «Времени» можем сказать мы уже и теперь, что это издание заслуживает внимания публики. Толстая книга журнала, выходящего раз в месяц, представляет столько материала, что по одному номеру нового журнала не трудно бывает определить его направление и количество сил, каким он располагает для исполнения своей задачи. «Время» ставит одним из главных своих достоинств — независимость от литературного кумовства, дающую ему простор прямо и резко высказывать свои мнения о других периодических изданиях и тех писателях, откровенно рассуждать о которых часто стеснялись другие журналы. Нельзя не сознаться, что у каждого из старых журналов, пользующихся хорошою репутациею, действительно образовались самою силою времени тесные отношения к тем или другим писателям, так что новый журнал не совсем несправедливо присвоивает себе в этом случае преимущество. Но мы надеемся доказать «Времени» эту статью, что и для нас литературное кумовство не имеет особенной драгоценности и уже никак не мешает нам хвалить то, что заслуживает похвалы, — не мешает нам ставить прямодушную правду выше всяких авторитетов.

В объявлении о своем журнале редакция «Времени» говорила довольно бесцеремонным образом, что не намерена церемониться с авторитетами. Этим обещанием она возбуждала хорошие надежды, но вместе с тем возбуждала во многих и некоторое сомнение. Что такое «авторитет»? Если «авторитетом» называть тех писателей, превосходство которых признано всеми до того, что трудно и прочесть этим писателям в порядочных изданиях резкую правду о своих произведениях, — в нашей литературе только два авторитета: г. Тургенев и г. Гончаров. Всем другим очень часто приходится читать о себе не только голую, а даже и разукрашенную бранным тоном правду. Основывать журнал для беспристрастной оценки повестей и романов гг. Тургенева и Гончарова, конечно, было бы уж слишком много. Очевидно было, что слова редакции «Времени» следует понимать в другом смысле: под «авторитетами» разумела она вообще всех писателей, пользующихся известностью, — от г. Авдеева до г. Фета⁴. А в таком случае будет ли она иметь столько литературных сил, чтобы порядочно вести журнал? Ведь известно, как обидчивы у нас писатели: вот, например, мы, кажется, всего два-три слова сказали как-то о г. Ржевском, авторе знаменитого трактата о средствах к увеличению числа пролетариев, да и то сказали вскользь⁵, а теперь мы уверены, вздумай мы просить у г. Ржевского для своего журнала статьи, он ни за что не даст. «Время» как будто отрекалось от сотрудничества писателей, пользующихся известностью. Это подтверждалось и тем, что не было в объявлении списка сотрудников с громкими именами, — ничего, подобного извлечению из блистательного сонма знаменитых рукоприкладчиков великого гражданского подвига в защиту евреев: не хвалилось «Время» именами, равносильными именам гг. Безобразова, Галахова, Громеки, Феоктистова, Розенгейма и т. д., и т. д., — именами, составлявшими такие великолепные созвездия в других объявлениях⁶.

Не знаем, сходитесь ли публика с мнением литературных кружков, но в литературных кругах близкие связи редакции с сонмом светил, ярких в глазах этих кружков, считаются необходимыми для хорошего ведения журнала. Правда, сами литературные круги как будто замечают, что самыми скучными статьями в журналах бывают статьи, украшенные именами многих очень уважаемых писателей. Но все-таки как-то лучшие с ними. Что будет делать «Время» без них?

Судя по первому номеру, никакого особенного ущерба не принесла «Времени» слабость его хлопот о приобретении именитых сотрудников. Против нашего ожидания, мы даже увидели на обертке один ингредиент с именитою подписью: «Легенда об испанской инквизиции. Поэма. Часть первая. Исповедь королевы. А. Н. Майкова». Выражать свое мнение о степени драгоценности этого ингредиента было бы противно правилам «Современника»,

который преклоняется пред «авторитетами», да и неделикатно относительно публики, которая в прошлую и нынешнюю зиму изорвала не одну дюжину перчаток, френетически * аплодируя г. Майкову на чтениях в Пассаже и других публичных залах. Г. Плещеева, который дал в первую книжку «Времени» очень милое стихотворение «Облака», мы не причисляем к авторитетам; он не более как писатель, деятельность которого безукоризненна и полезна; он лишен качества, необходимого для авторитетности: он не заражен литературным тщеславием. «Солимская Гетера» — стихотворение В. Крестовского, должно назваться превосходным, потому что оно нимало не уступает лучшим стихотворениям в подобном роде г. Майкова, которые мы всегда признавали превосходными по нашему принципу преклонения пред авторитетами. В прозе мы находим статью г. Страхова «О жителях планет», написанную очень популярно; перевод трех рассказов Эдгара Поэ, рассказ г. В. Крестовского «Погибшее, но милое создание»; эпизод из мемуаров Казановы, — отрывок, в котором он рассказывает свое знаменитое бегство из венецианской тюрьмы, — выбор очень удачный: история этого действительного события имеет всю занимательность эффектного романа ⁷. Но из всех статей, находящихся в первом отделе журнала, самая важная по своему достоинству, конечно, роман г. Ф. Достоевского «Униженные и оскорбленные». Роман будет иметь четыре части; из них в первой книжке помещена только одна. Нельзя угадать, как разовьется содержание в следующих частях, потому скажем теперь только, что первая часть возбуждает сильный интерес ознакомиться с дальнейшим ходом отношений между тремя главными действующими лицами: юношею, от имени которого ведется рассказ (роман имеет форму автобиографии), девушкою, которую он горячо любит, которая и сама ценит его благородство, но отдалась другому, очаровательному и бесхарактерному человеку. Личность этого счастливого любовника задумана очень хорошо, и если автор успеет выдержать психологическую верность в отношениях между ним и отдавшеюся ему девушкою, роман его будет одним из лучших, какие являлись у нас в последние годы. В первой части, по нашему мнению, рассказ имеет правдивость; это соединение гордости и силы в женщине с готовностью переносить от любимого человека жесточайшие оскорбления, одного из которых было бы, кажется, достаточно, чтобы заменить прежнюю любовь презрительною ненавистью, — это странное соединение в действительности встречается у женщин очень часто. Наташа с самого начала предчувствует, что человек, которому отдается она, не стоит ее; предчувствует, что он готов бросить ее — и все-таки не отталкивает его, напротив, бросает для него свою семью, чтобы

* Бурно. — Ред.

удержать его любовь к себе, поселившись вместе с ним. Она очень ревнива, а он, пользуясь любовью милой девушки, находит еще в себе охоту кутить с разными камелиями; она знает это и все-таки продолжает любить его. Наконец, у него является невеста, на которой он уже почти решился жениться, и Наташа все еще не отталкивает этого дрянного человека. Те из мужчин, которым не случалось всматриваться в драмы, происходящие около них, или которые слишком рано загубели, назовут такую историю невозможной или цинически скажут, что у Наташи были свои расчеты, что загадка разъясняется вовсе не к чести Наташи. К несчастью, слишком многие из благороднейших женщин могут припомнить в собственной жизни подобные случаи, и хорошо, если только припомнить как минувшую уже чуждую их настоящего историю.

Мы заговорились о первом отделе журнала, между тем как вовсе не думали останавливаться на нем, начав нашу статью с намерением обратить внимание только на второй отдел книжки, только на статьи, собственно так называемые журнальные: критические, библиографические и т. д. Преимущественно ими определяется направление журнала, и, судя по всему, преимущественно ими должно держаться «Время». В первой книжке оно выдерживает свою программу: тут полная независимость от всех прежних литературных кружков, одинаковая прямота мнений о всех и обо всем. В числе других порядком достается и нам; если бы была у нас склонность претендовать, когда кто судит о нас так же резко, как мы часто судим о других, мы могли бы обидеться (как, без всякого сомнения, уже обиделись многие иные). Но это обстоятельство несколько не уменьшает нашей склонности поддерживать «Время» на том пути прямых и смелых суждений, которым думает оно идти. Если бы вздумалось нам поспорить с «Временем», мы заметили бы, что ошибается оно, когда говорит о статьях, подписанных буквами — *бов*, как будто об имеющих притязание на авторитетность. Каждому кажется, что его взгляд справедлив; разумеется, так думает о своем взгляде и — *бов*; но вместе с тем он думает, что в его взгляде нет ничего особенно головоломного, что подобным образом смотрят на вещи сотни и тысячи людей, быть может, и не подозревающих, что существует на свете не только — *бов*, но и самый журнал, печатающий статьи — *бова*. Взгляд этот развивается в людях самую жизнь, независимо от каких-нибудь статей, и навязать его своими статьями — *бов* никому не надеется: кто сам по себе не дошел до такого взгляда, даже и не понимает статей — *бова*, как доказано было знаменитым примером человеколюбивого назидания, данного — *бову* газетою, чрезвычайно авторитетною⁸. Куда же тут иметь притязание на авторитетность! Довольно того, если — *бову* удастся высказать иногда то, что думалось и без него очень многими, только не высказывалось в печати нашими критическими авторитетами.

Впрочем, это все еще нейдет к делу, — а дело наше в том, чтобы несколько познакомить читателя с направлением «Времени». Достигнуть этой цели можно бы двумя способами: во-первых, можно было бы пересмотреть все содержание второго отдела книжки, коснуться всех главных мыслей, развиваемых в нем; но это было бы слишком длинно. Лучше будет взять в пример один вопрос, по взгляду на который легко будет отгадать характер «Времени». Мы берем для этой пробы понятие о [так называемой] гласности, которую вернее было бы называть косноязычностью⁹. Всеми свету известно, что с русской гласностью, несмотря на юность и невинность этой скромной институтки, а может быть именно по причине ее чрезмерной стыдливости, произошло немало неприличных историй; конфузующих бедняжку до слез. До сих пор ее все еще экзаменуют и находят — не то, что она мало знает и почти ничего не говорит, нет, находят, что она держит себя непристойно и ставят ей дурные баллы за поведение. В образованных странах такого обращения с девицами не допускают нравы, — да и гласность там уже не девица, стыдящаяся всего на свете, робеющая каждого упрека, а очень бойкая дама, которая не даст спуску никому. Там все ее хвалят, потому что она сживает с белого света того, кто вздумал бы хоть заикнуться против нее. У нас не то: всякий норовит обидеть бедную девушку: и сплетница-то она, и нахалка-то она, и скандалезница-то она, — чуть кто посильнее, прямо зажимает ей рот, да еще дает пощечины (это считается хорошим средством примирить с собою, заставить полюбить себя); а кому не доставалась привилегия раздавать по своему усмотрению пинки и зажимать рот неприятному для него существу, тот, по крайней мере, подбивает других на это криками о том, что гласность зазорно держит себя, что надобно обуздать эту гадкую девчонку. Добро бы держали себя так становые и частные пристава, которым, точно, достается иногда от гласности и, надобно сказать, достается с нарушением всякой справедливости, как будто они — уж и в самом деле бог знает как виноваты в наших бедах и неурядицах, когда они-то в сущности еще гораздо невиннее многих. Нет, позорят и подводят под сюркуп* нашу жалкую, колотимую всяким встречным и поперечным гласность сами журналисты, которым, повидимому, следовало бы защищать ее. В общих фразах они действительно превозносят ее; но чуть только явится в печати что-нибудь неприятное какому-нибудь журналисту, он тотчас же начинает толковать о злоупотреблении гласности, о том, что она вышла в этом случае за пределы, в которых бывает полезна и может быть терпима, словом сказать, начинает рассуждать тоном людей, враждебных гласности, и дает им в руки оружие против нее: «вот посмотрите (говорят

* Под удар. — Ред.

после таких статей враги гласности), сами писатели находят, что литература слишком своевольничает»].

Мы не хотим приводить примеров; но лишь о немногих журналах можно сказать, что они никогда не нарушали своей обязанности в этом отношении, ни разу не поддавались желанию обратить то или другое литературное дело в нарушение полицейских или уголовных законов. Бывали случаи еще гораздо хуже частных обвинений того или другого издания, того или другого писателя в чрезмерной вольности суждений по какому-нибудь частному случаю: увлекаемые личною досадою, авторы подобных статей изливались даже в общих порицаниях всей литературы за мнимое злоупотребление гласностью. «Время» думает об этих мнимых злоупотреблениях иначе: оно доказывает, что если какая-нибудь статья или строка неприятны для нас, то мы еще не имеем права кричать будто бы она — злоупотребление и преступление; а если бы и встречались некоторые ошибки, то из-за этих малочисленных и ничтожных ошибок не следует набрасывать тень на дело, требующее дружеской поддержки от всех нас, пишущих людей.

Стало возможным осмеивать некоторые лица или всем надоевшие или злоупотребившие закон и власть, им предоставленную, или, наконец, такие, как, например, господин Козляинов, которые нет-нет да и отдают немку. Вместе с куплетами на этих господ, вероятно, по ошибке, написали несколько куплетов и на вас. Ну, что ж что написали — велика важность! Неужели ж из этого, что гласность раз ошиблась, — долой ее? Нет, милостивый государь, если вы любите гласность, извиняйте и уклонения ее. Вы, конечно, не оскорбитесь, если я поставлю лорда Пальмерстона на одну доску с вами — он человек почтенный во всех отношениях — что ж? он не обижается, когда его *продернут* иногда в двадцати или тридцати оппозиционных журналах да осмеют в десятках шуточных, да обругают на чем свет стоит в сотнях иностранных — французских, немецких, американских. Поверьте, что после всего этого продергивания он кушает с своим обыкновенным аппетитом, и ночью, когда говорит в палате, голос его не дрожит и не взволнован нисколько. И никогда на ум ему не вспадет желать уничтожения гласности. И за кого вы стоите, за кого вы ратуете, милостивый государь? За господ Гусиных, Сорокиных¹⁰, Козляиновых, Аскоченских, потому что если не считать вас, милостивый государь, — вас, которого задела, может быть, по недоразумению, ведь куплеты писались только на подлые лица. Стало быть, все, что вы писали о гласности, все ваши воззвания к ней, вся ваша жажда ее — все это были слова, слова и слова?.. Стало быть, пусть пишут про других, мы будем молчать и посмеемся еще с приятелями над осмеянными лицами, только бы нас-то не трогали? Нет, милостивый государь, ваше поколение (я старик, совсем старик, у меня и ноги уж не ходят, и потому я не принадлежу к вашему поколению) и без того уж много играло словами. Может быть, историческая роль его была играть словами, но из этих слов растет теперь новое поколение, для которого слово и дело, может быть, будут синонимами и которое понимает гласность несколько шире, чем вы понимаете ее. Я согласен, что вам все это крайне неприятно, понимаю, еще раз понимаю, как вам все это неприятно, но что ж делать? укрепитесь. Нельзя же вдруг вычеркнуть из жизни прежние либеральные годы, прежние верования¹¹.

Мы выбросили из этого отрывка несколько строк, прямо относящихся к делу и лицу, по поводу которых высказываются

«Временем» общие замечания: мы не хотим, чтобы наша статья могла показаться направленною против кого-нибудь или для кого-нибудь обидной. Мы, собственно, желаем только показать читателю взгляд «Времени» на вопрос, в котором так часто сбивались с доброго пути столь многие. Вот еще небольшой отрывок из другой статьи.

Может быть, не возникло бы и половины тех общих и частных, специальных вопросов, которых теперь и не перечсть сразу, если бы не явилась к нам, способствовать нашему пробуждению, дорогая и прежде незнакомая нам гостья, прозванная «благодетельной» гласностью. Ни одна новизна, кажется, не потерпела у нас таких перемен в положении, как эта желанная гостья. Сначала она вступила к нам как-то робко, заговорила, заикаясь и съедая половину слов. С первого взгляда заинтересовались ею по причине той же юношеской пылкости; но скоро, заметив ее робость и неловкость, подняли бедную, как говорится, на зубок; насмешка не пощадила ее нового положения в обществе; стали ловить ее на каждом шагу, где случалось ей обмолвиться; особенно же в этом глотанье слов нашли что-то очень смешное. Она рассказывает нам, говорили насмешники, что-то и про кого-то; но о каких именно странах и о каких существах лепечет сна — понять невозможно. Что какой-нибудь чиновник берет взятки, это мы и без нее знаем; что какой-нибудь смотритель заведения чинит в свою пользу безгрешную экономию, — тоже очень хорошо знаем; зачем же говорит она нам это? Цели нет! Из ее речей мы не можем сделать никакого употребления; мы хотели бы знать, на кого она жалуется, чтобы поразить того нашим отлучением; но ведь нельзя же отлучать поголовно всех чиновников и всех смотрителей; мы бы и без нее это сделали, если бы тут была какая-нибудь справедливость. Произнеси она нам имя, мы бы предали это имя стыду и общему презрению, и вышло бы то, что со временем существование подобных имен сделалось бы у нас невозможным, по крайней мере, крайне неудобным, потому что нельзя спокойно существовать в обществе под карюю стыда и общего презрения... Вот тогда была бы цель!

Так говорили насмешники и недовольные. Гостья прислушалась, поняла, в чем дело, оправилась — и вот оставляет она свои робкие движения и заменяет их смелою осанкой, становится сама насмешницею. Послышались в устах ее и имена собственные, и уже немалое число их произнесла она..

Но.. и тут беда! Нашлись щекотливые господа, которые стали обижаться; стали говорить, что наша «благодетельная» гостья слишком вдается в частности, заглядывает туда, где ее не спрашивают, — не уважает, дескать, человеческого достоинства..¹²

Мы и здесь выбросили выражения, которые могли бы показаться особенною укоризною для какого-нибудь издания. Мы хотели этими выписками не выставять на вид чужие промахи, а только познакомить читателя с мнением «Времени» о том, что такое гласность и можно ли у нас порицать ее за какую-то мнимую неумеренность. «Время» справедливо находит, что разоблачать перед публикою общие черты наших общественных недостатков литература не может, если не станет указывать на частные факты, которыми обнаруживаются общие недостатки; а касаясь частных фактов, она по необходимости должна выставлять и лица, в них участвовавшие; что с каждым делом неразлучны некоторые случайные ошибки; но что неприлично благородному человеку или рассудительному изданию делать возгласы против

самого дела по неудовольствию на мелкие частности его; что если бы когда и подверглось неосновательному порицанию лицо, бывшее правым, то сама литература не замедлила бы показать факт в истинном виде и дать несправедливо оскорбленному кем-нибудь полнейшее удовлетворение, и т. д. Этот благородный и справедливый взгляд проведен через всю собственно журнальную часть первого номера «Времени» с последовательностью, которой не слишком много примеров представляют наши издания и которая тем больше чести приносит новому журналу.

Сколько мы можем судить по первому номеру, «Время» расходится с «Современником» в понятиях о многих из числа тех вопросов, по которым может быть разница мнений в хорошей части общества. Если мы не ошибаемся, «Время» так же мало намерено быть сколком с «Современника», как и с «Русского вестника». Стало быть, наш отзыв о нем не продиктован пристрастием. Мы желаем ему успеха потому, что всегда с радостью приветствовали появление каждого нового журнала, который обещал быть представителем честного и независимого мнения, как бы ни различествовало оно от нашего образа мыслей. Читатель вспомнит, как радовались мы появлению «Русской беседы», хотя вперед знали, что почти на все спорные вопросы она будет иметь воззрение, прямо противоположное нашему; читатель вспомнит, с каким сочувствием встречали мы появление «Русского вестника»¹³, с которым в спорных вопросах сходимся разве немногим больше, чем с «Русскою беседою». Ничем иным, кроме чувства, заставлявшего нас желать «Русской беседе» того успеха, которого достигла бы она при меньшем пристрастии к разным слишком непопулярным элементам, и желать «Русскому вестнику» того же успеха, которого он достиг совершенно заслуженно и с большою пользою для нашего общественного развития, — ничем иным, кроме этого чувства, не будет объяснять публика и в нынешний раз нашего желания, чтобы успел привлечь к себе ее внимание журнал, имеющий направление, достойное симпатии.

БИБЛИОГРАФИЯ

<ИЗ № 3 «СОВРЕМЕННОГО»>

Стихотворения А. Н. Плещеева. Новое издание, значительно дополненное. Москва. 1861.

Стихи г. Плещеева стали впервые появляться в печати лет пятнадцать или шестнадцать тому назад. Как известно, тогда вдруг, ни с того, ни с сего, редакторы больших и толстых журналов воображали, что всякая строчка с кадансом* и рифмой в

* Стихотворный размер. — Ред.